

Александр Иванович Куприн

Мой паспорт



Александр Иванович Куприн

Мой паспорт

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2524325

Аннотация

«Конечно, нет более смешного и нелепого явления в пестрой русской жизни, чем эта тоненькая книжка, которая лежит сейчас у меня перед глазами на письменном столе рядом с велосипедным номером и железной бляхой моего гончего кобеля Завирайки. Боже мой! Какая трата сил, энергии, ума, здоровья, душевного спокойствия, честности, любви и взаимного доверия – и все из-за нескольких страничек, захватанных чужими руками и никому не нужных!..»

Александр Иванович Куприн

Мой паспорт

Пасхальное стихотворение в прозе

Конечно, нет более смешного и нелепого явления в пестрой русской жизни, чем эта тоненькая книжка, которая лежит сейчас у меня перед глазами на письменном столе рядом с велосипедным номером и железной бляхой моего гончего кобеля Завирайки. Боже мой! Какая трата сил, энергии, ума, здоровья, душевного спокойствия, честности, любви и взаимного доверия – и все из-за нескольких страничек, захватанных чужими руками и никому не нужных! О вы, мои товарищи по несчастью, вы, рязанские плотники, калужские каменщики, ярославские разносчики, тульские банщики, зарайские и псковские извозчики, смоленские и витебские землекопы, вы, простосердечные кухарки, водовозы, селёдочницы и другие милые люди, не вошедшие в число особ первых четырех классов, вы все, имеющие рост – средний, цвет волос – русый, глаза обыкновенные, лицо чистое, но зато не имеющие ни одной особой приметы, вы, невольные странники, которых за утерю вида гонят по этапу с крайнего юга на крайний север моей прекрасной и несурзной роди-

ны, – я мысленно обнимаю вас от всего моего сердца в этот весенний день, накануне теплого, радостного праздника!

Но в те года, когда неслышными шагами подходит к нам старость, – тогда таинственную, очаровательную, сладкую и грустную власть приобретают над нашей душой все вещи, запахи, звуки и слова, говорящие об уплывшем прошлом. Для молодости непонятна наша томная, длительная любовь к далеким воспоминаниям. И потому-то сейчас, в эту минуту, я искренно благодарю вас, жирные, хриплые исправники, и вас, расторопные становые в густых подусниках, и вас, прощительные урядники, и вас, толстые швейцары отелей, и вас, лукавые рыжебородые старшие дворники, и вас, умные прыщавые паспортисты (хотя от вас всегда дурно пахло заношенным бельем и скверным табаком, и рука ваша, принимающая тайный рубль, была всегда мокра), – благодарю вас за то, что вы – сами не зная для чего – так заботливо отметили все станции в моей длинной жизни.

Пасха – всегда пасха.

Она одна и та же для всего живущего: для обрезанных и необрезанных, для монголов, индоевропейцев, негров и туарегов, для людей севера и юга, для лошадей, собак, рыб, жуков, деревьев и даже чиновников. Светлый, ликующий праздник: весна, солнце, новая любовь, песни, тепло и зелень! И вот, брезгливо перебирая грязные листы этой диковинной книжки, я радостно и грустно перебираю воспоминания о моих прежних веснах.

Москва. Колокольная. Какая веселая, пьянящая, головокружительная пестрота внизу, под моими ногами. Небо страшно близко: вот-вот дотянешься рукой до белого, пухлого, ленивого облачка. О, верх мальчишеского счастья – наконец-то в моих руках веревка от самого главного, самого большого колокола. Грушевидный язык его тяжел и долго скрипит своим ухом, пока его раскачаешь. Ба-ам! Теперь уж больше ничего не видишь, не слышишь и не понимаешь. В ушах больно от мощных медных колебаний. Еще! Еще! Ласточки стрелой проносятся мимо тебя. Любительские голуби стаей плавают высоко в воздухе...

Киев. Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с масляными глазами и красным ртом. Помню, как мы, возбужденные теплом черной ночи, ароматным ветром, огнями на улицах и этой тревожной, танцующей суетой, ходили из церкви в церковь, из костела в кирку, к единоверцам, грекам и старообрядцам. Ах! Красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем свечи, – этот блеск зубов и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие блики в глазах, и тоненькие пальчики, изгибающие растопленный воск в смешные завитушки. Почему-то беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие веселые: трам-трам, тра-ля-лям! И все смеялись – смеялись новой весне, воскресению, цветам, радостям своего тела!

А вот от старообрядцев нас попросили уйти... Видит бог, в нашем смехе не было никакого зла! Но, когда на клиросе

бородатые, рыжие, серьезные мужики запели в унисон козлиными голосами, умышленно и неестественно гнусавя и искажая слова:

Христос воскресе иза меретавыха,
Самертию на самерти насатупив
И гробным живот дахорахова, —

ну, просто мы были поражены неожиданностью и пока-
тились со смеху, как это было недавно со мной, когда в мо-
ем присутствии один поэт-символист – человек несомненно-
го, даже исключительного таланта – вдруг зачитал что-то о
кладбище и о мертвецах на мотив «чижика»: я знал, что мой
смех неучтив, но не мог усилием воли победить его. Так и у
старообрядцев... Но все-таки была ночь, и я жил, и я этого
никогда не забуду. Я до сих пор помню и люблю этих серьез-
ных, певших весну людей. А потом еще было утро, разлив
Днепра, черемуха, немножко любви... Вижу я также на моем
паспорте скромную пометку Сергиева посада. Это – Троиц-
ке-Сергиевская лавра. Я люблю этот уголок – осколок Моск-
вы XVI столетия, эти красные и белые стены с зубцами и
бойницами, ёрнический торг на широкой площади, распис-
ные троичные сани, управляемые ямщиками в поддевках и
в круглых шляпах с павлиньими перьями, «Купец, пожалуй-
те!..», и блинные ряды, и бесконечное множество толстых,
зобастых и сладострастных святых голубей, и монахов с сон-
ными глазами, большим засаленным животом и пальцами,

как у новорожденного младенца – огурчиком, и пряничных коней, и деревянных кукол – произведения балбешников, и помню еще многое другое.

Да. Но участвовать в великом празднике мне не удалось. За два дня до воскресения Христова, в четыре часа утра, ко мне постучались. Я побежал босиком, почти голый, по длинному, холодному коридору (ибо я ждал тогда нетерпеливо известий от бесконечно дорогого мне человека) и, доверчиво отворяя дверь, спросил в восторге:

– Да? Телеграмма?

– Да, – ответили они – телеграмма, – и вошли:

1) жандармский унтер-офицер Богуцкий Фома, 2) два годовых, дворники и пр. и 3) спустя 10 минут местный полицеймейстер, местный жандармский ротмистр Воронов (холодное лицо, беспристрастность, небрежность и – «он все знает наперед»), чахоточный околоточный, хозяин моего дома со смешной фамилией Дмитрий Донской, понятия.

– Ты его обыскал?

– Так точно, ваше-ссс...

– Вы можете одеться.

Но я ответил, что я привык всегда ходить дома только в одной ночной рубашке. Потом он сел за мой письменный стол и начал рыться в дорогих мне письмах, карточках, записных книжках. Я сел рядом с ним на стол. Это была также моя привычка. Тогда он любезно позволил мне «взять стул». Но я намекнул ему, что я, как хозяин дома, мог бы первым

предложить ему то же самое. Словом, у нас сделались сразу довольно тяжелые отношения. Он был человек твердый и многосторонне образованный, он увидел в одной из моих записных книжек следующие знаки:

\-|-|-|-|

-|-|-|--

-|-|-|-|-

\-|-|-|-|

Он спросил:

– Да-с, а это что?

Я ответил, болтая ногами:

– Это, господин полковник, произошло вот как. Один начинающий, но, увы, бездарный поэт принес мне стихи. И я доказывал ему на бумаге карандашом то, что он начинает хореем, переходит в ямб и вдруг впадает в трехсложное стихосложение.

– Я-ямб? – воскликнул он. – Ямб-с? Это мы знаем, какой ямб! Богуцкий, приобщи.

Моя записная книжка пропала. И навеки. Много было также приятного и неприятного в городах: Крыжополе, Проскурове, Наровчате, любезной нашему сердцу Устюжне, в Теофиполе.

Но вот какое обольстительное воспоминание радует меня и пьянит, и я знаю, что так будет до конца моих дней.

Я тогда жил в Мисхоре, на южном берегу моря, в пустой

даче. Никого кругом не было. Зеленели кусты. Черные дрозды прилетели уже дней пять-шесть тому назад и насвистывали своими довольно фальшивыми голосами смешные мотивы.

И вот наступила эта чудесная пасхальная ночь. Ночь была так темна и ветер так силен, что я должен был обнимать ее за талию, помогая ей спускаться вниз по вьющейся узенькой дорожке.

Мы легли на крупном мокром песке около самой воды. Море было беспокойно.

Это было приблизительно часов около 12–2 ночи. Черное небо, порывистый ветер с Анатолийского берега, свет только от звезд и едва различаемые пенные гребни последних волн.

Маленькая смешная подробность: накануне выбросило прибоем дельфина. Мы заметили его присутствие только через три минуты, благодаря запаху разложения.

Мы ушли от него в другое место. Это была моя последняя пасха, моя последняя весна. Так красиво и нетерпеливо шуршало около наших ног море, так неожиданно послушны, готовы и радостны были эти гордые губы...

О мудрец, как я понимаю твои великие слова: остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Но все проходит, и ничто не возвращается. Склоним же голову перед вечной судьбой и скажем про себя:

Молодости – радость.

Силе – кротость.

Мудрости – молчание.

Старости – сладкий, долгий сон...